

АЛЕКСАНДР  
ПИСАРЕВ



*Александр Александрович Писарев (р. 1988) – исследователь, переводчик, преподаватель, младший научный сотрудник Института философии РАН.*

## Наблюдать и управлять:

обзор российских  
интеллектуальных журналов

**О**бсуждаемые здесь выпуски отечественной интеллектуальной периодики в разных контекстах и разными путями выстраивают свои дискуссии вокруг связки знания и власти. «Логос» читает философа и писателя Александра Зиновьева в оптике позднего Фуко и почти полтора номера уделяет обсуждению карт как онтологических аппаратов и инструментов управления, навигации и познания. «Ab Imperio», продолжая эту линию, тематизирует в рамке знания-власти политику идентичности и противопоставляет государство империи и государство нации, а в своем последнем номере за 2022 год изучает расхождения дискурса и практики государства.

**ОБЗОР  
ЖУРНАЛОВ**

299

## АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ, ФУКОЛЬДИАНЕЦ БЕЗ ФУКО

Основной блок материалов последнего номера «*Логоса*» за 2022 год (2022. № 6) – попытка взглянуть на Александра Зиновьева, неоднозначную, почти маргинализованную в постсоветском интеллектуальном сообществе фигуру, с неангажированных позиций и представить его в актуальном контексте. В начале публичной карьеры Зиновьев – противник советского строя, популярный сам- и тамиздатовский писатель и эмигрант, в конце критик западных обществ. Причиной противоречивости рецепции идей Зиновьева и ее характеру посвящена статья Николая Афанасова. Он отмечает, что в ущерб пониманию зиновьевской мысли большинство авторов заняты либо перечислением заслуг этого автора, либо изобличением его непрофессионализма, либо не всегда точным пересказом его идей (с. 34).



Странность положения зиновьевской мысли, помимо институциональных и содержательных причин, обусловлена тем, что он принципиально не сближался ни с какими сообществами (в том числе, например, в эмиграции дистанцировался от

диссидентских кругов) и жил по принципу «Я есть суверенное государство из одного человека». Об этом рассказывает в интервью Абдусалам Гусейнов, близко знавший Зиновьева. По его мнению, движущей силой зиновьевской критики советских порядков и способа мышления был разрыв между коммунистическим идеалом, в который он верил, и фактической реализацией этого идеала в действительности СССР. Гусейнов сжато объясняет представления Зиновьева о «законах социальности» и важность для него этической фигуры *индивидуалиста*. В чем-то его подход близок к прагматической антропологии Канта, и эта составляющая (граница на самом деле с житейской мудростью) расходится со сциентистским образом его проекта логической социологии. Методологически зиновьевский взгляд размечен в следующем высказывании Гусейнова:

«За философией Зиновьева стоят его логика и социология: в логике он доказывает, что не существует таких проблем, которые человеческий разум не мог бы решить из-за отсутствия логических средств их выражения, а в социологии доказывает, что социальное поведение индивидов подчиняется законам, столь же объективным и доступным познанию, как и физические законы. Знание человеком научной истины о своем бытии делает его соразмерным этому бытию и способным взять за него ответственность» (с. 10).

Логическая социология едва ли соотносилась с парадигмой современной Зиновьеву социологии, которой он себя противопоставлял, и скорее была социальной философией (подробнее об этом и причинах непринятия этого проекта профессиональным сообществом см. статью Афанасова). Более того, «реальностью» философии Зиновьева стала лишь ее идеологическая часть – в частности, критика западной идеологии («западнизма») – и начало его работы над альтернативной идеологией,

нашедшее отклик у определенной части аудитории его книг. Афанасов пишет об этом так:

«С опорой на идеи Зиновьева предлагается развивать цивилизационные, суверенные и независимые от Запада проекты. [...] В своей наиболее востребованной сегодня части [творчество Зиновьева] вполне может считаться противоречащим как самим базовым принципам методологии философа, так и общему содержанию корпуса его сочинений» (с. 45).

Остальные результаты за пределами этой популярной в узких кругах части остаются, по большому счету, неузнанными. Былая писательская популярность не привела к популярности или хотя бы востребованности в качестве социального исследователя.

«Разгадка (не)функционирования философии Зиновьева кроется в том, что если и не все, то очень многие его наблюдения кажутся истинными, но их обоснование не может быть воспроизведено в качестве способа дальнейшего размышления» (с. 48).

Словом, за тезисами не стоит исследовательской программы, в которой можно было бы работать другим исследователям. Зачем же читать этого автора сегодня?

Во-первых, Зиновьев все же сложнее, чем проект логической социологии и идеологические штудии. Эту сложность хорошо показал когда-то социолог Юн Эльстер. Он продемонстрировал, что в основе художественного мира Зиновьева – логические ловушки, ошибки и парадоксы (в особенности смешение двух типов отрицания), которые сам Зиновьев прежде изучал как профессиональный логик. Логические инвестиции в социально-философские наблюдения не такое уж частое явление (и скорее выпадающее из любых парадигм). Эльстер подмечает действительно занимательные сцепки логических сбоев мысли и социальных установлений. Подробнее об этом – в статье Александра Писарева.

Во-вторых, независимо от оценки проекта Зиновьева, он востребован как тонкий (на фоне официальной советской науки и работ западных советологов) наблюдатель и свидетель порядков, которые были в советском обществе (и, по-видимому, продолжают существовать). Данная мысль развивается Писаревым в прочтении «социологического романа» Зиновьева «Зияющие высоты» (1976) с опорой на фукольдианскую оптику исследований гвернаментальности.

Применимость этой оптики обусловлена тем, что зиновьевский и фукольдианский способы проблематизации управления близки: это формирование поведения индивидов через структурирование их поля возможностей и ограничений, то есть их свободы. Понятая так власть продуктивна: она производит определенных индивидов, вменяет им этику, но одновременно управляет ими не негативным образом, через ограничения, а через их свободу. Интересно, что гвернаментальный подход Фуко формировался примерно в те же годы, когда Зиновьев в СССР писал свой первый роман.

Эта оптика позволяет представить антиутопию города Ибанска, основанную на наблюдениях за советским обществом («реальным коммунизмом»), как действительность, которая структурирована гвернаментальностью – специфическим набором техник и рациональностей управления (как формирования поведения индивидов). *Ибанская гвернаментальность* гетерогенна, включает в себя элементы и авторитарного, и либерального управления реальных обществ (не только советского), а также отчасти является реакцией на кибернетическую гвернаментальность. Писарев предполагает, что она является гротескным близнецом советской управленческой реальности начала 1970-х. Некоторые ее элементы исчезли, другие же нетрудно найти в постсоветском обществе. В этом смысле



и советское, и постсоветское управление не герметичные политические режимы, а напротив – подвижные и относительно открытые сборки разнородных техник и рациональностей управления. Поэтому наблюдения Зиновьева могут быть актуальны для анализа современного постсоветского (и не только) управления.

Вдобавок для своего художественного мира Зиновьев строит антропологию, в которой получают объяснение наблюдавшиеся им явления советского общества: доносы, безответственность руководителей и исполнителей, аполитичность и некритичность граждан, крайний эгоцентризм и тотальная имитация деятельности. Все это, по Зиновьеву, квазиестественное социальное зло. Хотя люди по своей природе ни к чему не предопределены («болванки»), они склонны идти по пути наименьшего сопротивления, то есть по пути зла. Моральность, право, религия, наука, напротив, требуют личного и коллективного этического усилия. Поэтому господство социального зла – угроза, которая всегда преследует любое массовое общество, – а значит, наблюдения и объяснительные схемы писателя могут быть значимы не только для советской действительности, но и для современности.

В-третьих, как показывает Игорь Кобылин, зиновьевская тематизация коммунизма как исторически конкретного проявления «вечных» социальных законов может быть прочитана как реплика в дискуссии вокруг неолиберального управления. Дело в том, что последнее экономизирует управленческие практики, подменяя социальное экономическим. Коммунизм в работах Зиновьева, напротив, полностью вытесняет экономическую рациональность, заменяя ее социальной. Кобылин трактует это как специфическую коммунистическую *гувернаментальность*. Только если Писарев видит в техниках управления у Зиновьева разнородность, то Кобылин прочитывает их как части абсолютной *гувернаментальности*:

Генеалогическая линия, которую благодаря *гувернаментальным* штудиям Фуко [...] можно прочертить от экономической правительности Смита к ее советской коммунальной инверсии, позволяет оценить по настоящему оригинальный вклад Зиновьева в еще толком не описанную позднесоветскую управленческую мысль. Действительно, коммунизм как реальность – это не гибридная сборка административно-полицейской правительности раннемодерных монархий и экономического управления посредством (относительной) свободы, характерного для либеральных техник. Это, если так можно выразиться, абсолютная *гувернаментальность*, «самоуправляемые джунгли», где непрерывное регулирующее вмешательство уже неотличимо от спонтанности и свободы» (с. 107).

Еще один блок этого номера открывает обсуждение истории и онтологии *картографии*, которое продолжится в следующем выпуске «Логоса». Значимую роль в актуальных исследованиях картографии играют *пострепрезентативистские* подходы, поэтому обсуждение открывает статья Александра Писарева с обзором некоторых из них. Автор выписывает теоретический контекст этого направления, намечая его истоки в деконструкции Деррида, исследованиях науки и техники и, в частности, акторно-сетевой теории. Он показывает, что, несмотря на разницу задач и дисциплинарной прописки, перечисленные течения объединяет ряд схожих – преимущественно онтологических – решений, которые впоследствии перекочевали в исследования картографии. Вкратце, это попытка уйти от фундаментальности оппозиций *репрезентация–репрезентируемое*, *карта–территория*, *культура–природа* и исследовать их как *продукты* технонаучных и социальных практик и сетей. В таком случае карта – это не только и не столько *репрезентация территории*, сколько *инструмент навигации и политики*, который находится в отношениях взаимного означивания с *территорией*.

Дмитрий Замятин, продолжая обсуждение пострепрезентативистской онтологии карт, привлекает внимание к специфическому воображению, свойственному картографическим практикам. Это логичный шаг, ведь если есть карта как техника, то должны быть и условия ее возможности, в том числе некоторый способ мышления, высказывания и воображения. По мнению Замятина, картографирование – одна из базовых онтологических моделей воображения, которые сформировались эволюционно и способствовали освоению планеты человеком (это средний уровень между телесностью и *планетарностью* как процессом пространственной дифференциации Земли). В пределе «всякая картография, рассматриваемая с точки зрения ее онтологии, становится теперь – как бы автоматически – картографией воображения» (с. 192). Его выход на первый план связан с *картографическим поворотом*.

«Этот переворот в его завершающей фазе можно уверенно отнести к эпохе Модерна, когда стремительно формировавшиеся современные общества стали интенсивно пользоваться все более и более совершенными географическими картами, сопровождавшими, “оркестровавшими” и оформлявшими реальные и ментальные захваты большинства территорий и акваторий Земли» (с. 186).

Как становится ясно, картографирование не является нейтральной репрезентацией, отражением объективной реальности, а производит ее (отсюда *картоонтография*, с. 191). Оно – инструмент детерриторизации и ретерриторизации социальных групп (с. 189), создания и манипуляции территориальными идентичностями. Любая карта производит только частную пространственность, а не тотальную (потому картография всегда множественна). Вдобавок у разных картографий разные языки. Отсюда проблема несоизмеримости и множественности сопостранственностей, являющаяся и ис-

следовательской, и политической. Как соотносятся между собой территории, коррелятивные каждой из карт? Для решения этой проблемы Замятин привлекает идею *ассамбляжа* (Жиль Делёз, Мануэль Деланда) и *плоских онтологий* (Леви Брайант). «Карты и картографии – контингентные ассамбляжи, результирующие так или иначе процессуальные становления плоских онтологий» (с. 195).

Интересно, что, как отмечает Замятин, мышление антропоцена полностью зависимо от географического воображения и глубоко медиатизированной картоонтографии, позволяющих дифференцировать Землю как место существования человека и расположить ее в космическом пространстве (с. 193).

Владимир Каганский переводит обсуждение в плоскость семиологии и, опираясь на собственный картографический опыт, проясняет эпистемологический, семиотический и культурный статус карты. Он обращает внимание, что карта не сводится к изображению – она включает также зарамочные компоненты вроде условных знаков и комментариев. Так, карта, будучи сплошной, является не суммой знаков, а скорее совокупностью концептов, категориальных образов.

## КРИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАРТОГРАФИИ

Дискуссия о картографии продолжается в следующем «*Логосе*» (2023. № 1), в котором читатель найдет материалы, посвященные пострепрезентативистскому повороту в этой области, кейсы из истории создания и использования карт, а также вводные статьи, посвященные цифровым картам и концепции «Цифровой Земли».

В предисловии к номеру редакторы-составители Константин Иванов, Станислав Гавриленко и Александр Писарев кратко



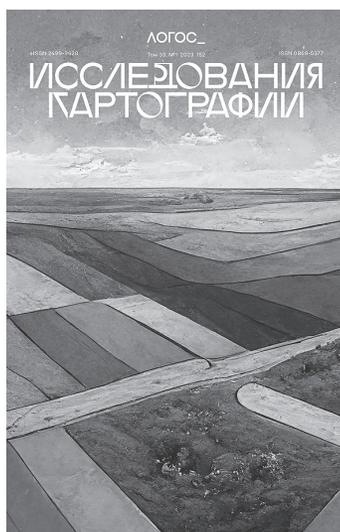
очерчивают идею критических исследований картографии и предлагают обзор ключевых тем и проблем, обсуждаемых в материалах номера.

«Критическому исследованию подвергаются, во-первых, представления современного западного здравого смысла и официальной научной идеологии, прежде всего самих профессиональных картографов, о карте как нейтральной и объективной репрезентации. Во-вторых, способы, контексты и последствия производства и использования карты в социально-политических практиках от колонизации, войн и перекраивания социальных общностей до управления территориями, нациестроительства и прокладки маршрута. [...] Критика во вполне материалистическом духе стремится понять, что же такое карта как часть действительности, в которой есть злоупотребления властью, социальная несправедливость, войны, беженцы, подтасовки на выборах, объективация целых социальных общностей, но также маршруты, путешествия, среды обитания и экологические проблемы» (с. 7).

Первый блок продолжает тему пострепрезентативистского поворота, обсуждение которого начали Писарев и Замятин в предыдущем номере. В рамках этого поворота тематизируется способ существования карты как части мира. В таком случае она *денатурализируется* и уже не сводится к нейтральной и объективной репрезентации территории. В программном для этого поля тексте Роб Китчин и Мартин Додж намечают генеалогию пострепрезентативизма и предлагают понимать картографию как науку *процессов и практик*, а не репрезентаций.

Карта в этой оптике – принципиально *незавершенный* продукт, который доопределяется в практиках решения пространственных проблем (с. 55). В таком случае на первый план выходит ее *онтогенез*, она лишается гарантированного онтологического статуса и обнаруживает свою кон-

текстуальность, временность, переходность (с. 41). Словом, карта – всегда ситуативный процесс картографирования. Эти свойства Китчин и Додж поясняют на примерах использования карты для путешествия и разграничения – движения по городу в одном случае и демонстрации распределения изменения численности населения в другом, – показывая, как производятся обе стороны связи карта–территория. Первая не отражает вторую, но связана с ней гораздо более сложными узлами и участвует в ее историческом *производстве и воспроизводстве*.



Такой режим существования карт Валери Новембер, Эдуардо Камахо-Хюбнер и Бруно Латур называют *навигационным* (с. 72) и тематизируют его в контексте появления цифровой картографии. Этот режим предполагает не проникаемое и объективно существующее евклидово пространство (с. 81) по ту сторону якобы репрезентирующей его карты (это был бы миметический режим), а *мультиверсум*. Соавторы отмечают, что достоверность карты обеспечивается не отношением подобия или соответствия территории, а длинной цепочкой институтов, инструментов, теорий, вычислений и знаний, элементом которой и является кар-

та (с. 72, 75). Вне этой цепочки она лишена ценности и не имеет научного референта. Как только вы разрушаете каскад, изолированный образ утрачивает свой научный или референциальный характер и выходит на совершенно другую траекторию. Он становится «миметическим», то есть производит как своего рода гало *фиктивный референт*, который может казаться очень убедительным, но не имеет в действительности практического эквивалента: это простое удвоение того, что показывается в образе. Миметический образ не ведет никуда, только к столь же фиктивному вопросу о его сходстве с оригинальной моделью, то есть с тем, что порождено самой репрезентацией (с. 76).

Ноябрь, Камахо-Хюбнер и Латур выдвигают смелое предположение, что миметический режим карты и сцепленное с ним представление об автономном пространстве восходят к нововременной перспективной живописи (особенно голландской), поскольку именно она предполагает две конечные точки, прототип и копию. По их мнению, «карты были эстетизированы и смешаны с формировавшейся культурой “реалистической” живописи». Первый шаг – удвоение одного и того же мира, сначала как рисунка и вычислений на бумаге, потом как виртуального образа мира, репрезентированного этими вычислениями; второй – *смешение* виртуального и реального миров (с. 78–82). То есть мир (евклидово вместилище всех территорий) – *результат* сшивания всех виртуальных образов всех карт, но затем последовательность действий переворачивается, как если бы мы двигались от абстрактного евклидова пространства к реальному миру и только затем уже к карте:

«“Пространство” появляется и исчезает как исторически, так и визуально в зависимости от того, интерпретируем ли мы репрезентационные техники в соответствии с навигационным или же миметическим измерением» (с. 83).

Впрочем, не менее традиционным референтом карты является *природа*. Дэнис Вуд и Джон Фелс приводят список типов природы, производимых разными картами, и сопровождают его анализом устройства карты. Это сложное *семиотическое* и идеологическое устройство, участвующее в установлении власти над территорией.

Исследование семиотической природы карт продолжает и углубляет Константин Иванов. Для картографии, как он показывает, характерны две синтагмы – «маршрута» и «границы», речевые эквиваленты которых *путешествие* и *разграничение*. Подчеркивается, что означаемым карты является семиотический пласт – коды. Анализ Иванова дополняет исследование Латура и его коллег, но одновременно вступает с ним в спор, поскольку получается, что навигационный режим карт должен быть дополнен неким *разграничивающим* режимом.

Вообще связка власти и знания – частая рамка для анализа картографии. В том же номере Станислав Гавриленко, отталкиваясь от «Послов» Ганса Гольбейна Младшего, показывает, что расцвет карт – и глобуса, в частности – приходится на тот период истории, когда политические аппараты – как на уровне крупномасштабных политических стратегий, так и на уровне рутинного управления – начинают учреждать себя в качестве аппаратов наблюдения. Глобус оказывается инструментом «синоптического видения и репрезентационной (картографической) поверхностью, на которой ведется тяжелая работа по сборке мира и контролю над ним» (с. 157).

Заключительный блок возвращает нас в современность и тематизирует цифровые карты, постепенно вытесняющие традиционные. Их расцвет предвосхитила концепция «Цифровой Земли», предложенная в 1992 году Альбертом Гором. Евгений Еремченко подробно анализирует эту концепцию и семиотическую специфику циф-



ровых карт. Если, как показывает Иванов, традиционные карты метасемиологичны, то цифровые картографические среды, по Еремченко, используют *беззнаковые* средства.

Андрей Леонов прослеживает эволюцию цифровых карт и доказывает, что они по сути стали *трехмерными интерактивными моделями* Земли, характеризующимися мультizaдачностью, мультимасштабностью и мультитемпоральностью (самый известный пример виртуального глобуса – сервис «Google Earth»). Леонов отмечает сопряженные с такими объектами риски, прежде всего контроль и достоверность данных, манипуляции настройками алгоритмов ради влияния на пользователей. В силу этих рисков, считает автор, традиционные двухмерные карты сохраняют свою важность для многих групп пользователей. Правда, сегодня все они, как правило, в конечном счете основываются на трехмерных цифровых моделях. Вывод Леонова перекликается с пострепрезентативистскими подходами к картам. Он считает, что будущее цифровых карт зависит не столько от их технического совершенствования, сколько от развития практик, правил и компетенций их использования.

## ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ МЕЖДУ ЗНАНИЕМ И ГОСУДАРСТВОМ

«*Ab Imperio*» (2022. № 3) продолжает годовую тему государства как института и аналитической категории. На этот раз в фокусе внимания номера – вопрос о разнице между государством империи и государством нации, причем он обсуждается в плоскости связки власти и знания:

«Субъект производства знания напрямую коррелирует с политической системой и одновременно определяет ее характер. От монархии и империи национальное государство отличают не столько политические

институты сами по себе, сколько преобладающий в обществе модус социальной агентности (автономного мышления и действия), воплощенный в общепризнанных социальных идентичностях (с. 17).

Инстанции, производящие знание об управляемых индивидах и общностях, о территории, ресурсах и возможностях, сильно влияют на устройство и функционирование политических институтов. Так, Гульмира Султангалиева и Айнура Суйнова показывают эволюцию связей между созданием знания о Казахской степи и ее управлением в XVIII–XIX веках. Субъектами сбора и обработки данных об этой территории были *«знающие люди»*, и авторы определяют их в три иерархически связанные категории. Прежде всего это систематически занимавшиеся сбором данных сотрудники региональной администрации в Оренбурге. Они опирались на агентурную сеть доверенных лиц – татарских мулл, писцов, купцов. И, наконец, проводники караванов и погонщики верблюдов, которые могли и не осознавать, что сообщают сведения, но, выполняя свои рабочие обязанности, демонстрировали практическое знание о местных природных и социальных реалиях.

Здесь легко выделить знание колонизаторов и знание субалтернов, но эта система «колониального знания» работала именно как *целое*. Вдобавок нанимаемые в администрацию казахи, делая карьеру чиновников, занимали промежуточное положение – еще не часть метрополии, но уже не субалтерны.

«Подчиняясь Петербургу, оренбургские чиновники контролировали поток информации, поступавшей в центральные органы власти, опосредованно влияя на их решения. В свою очередь местные казахские агенты-информанты поставляли в Оренбург сведения в интерпретации, отражающей их личные или клановые интересы» (с. 18).

Попытки властей в 1830-е ликвидировать эту разнородность источников знаний

и интересов – сделать производителями знания только представителей монополии, заменив вторую категорию и отменив третью, – провалились. Этот кейс показывает, что в государстве-империи субъект производства знания скорее мог быть гибридным – и имперским, и колониальным. В условиях империи нациецентричные порядки, ликвидирующие гибридность и разнородность, могут быть успешны, только если удастся поддерживать «чистые» социальные формы. Для установления такого порядка необходимо, чтобы население было реконцептуализировано как поделенное на четкие коллективные идентичности, которые ранжированы по оси власть–знание. Отсюда центральная роль *политик идентичности* в социальном воображении национализирующихся государств.

Луиза МакРейнолдс переключает внимание на паттерны знания, производимого западной и модерной по своему характеру доисторической археологией в Казахской степи. Во второй половине XIX века русские националисты обратились к археологическому знанию, чтобы найти корни чистой «биополитической» идентичности и возвести генеалогию русских к древним временам. Это знание заимствовало расоизирующее различие темной и светлой кожи, которое едва ли можно было напрямую применить к современному обществу, но которое проецировалось на доисторические времена. В результате социобиологические группы номинально «бесцветного» имперского общества за счет сконструированной генеалогии объявлялись чистыми и ранжировались как прямые потомки «черной» или «белой» расы. Российское общество того времени восприняло весь комплекс расоизирующих социальных дискурсов, включая расизм и культ арийского происхождения. Охрана чистоты собственной социальной идентичности продвигала культуру *политики идентичности*. Этот кейс показывает, что последняя – важное

связующее звено между политикой знания и политикой государства.

Впрочем, даже самые последовательные и крайние примеры национализирующих государств, которые опираются на расовую экспертную политику идентичности, доходящую до состояния биополитики, не всегда работали однозначным образом. Декларативно-нормативный уровень мог отличаться от того, что происходило на местах, поскольку система предоставляла исполнителям существенную свободу. Юрий Радченко иллюстрирует это обстоятельство политикой нацистской Германии в отношении караимов на территории Украины. Караимы доказали нацистам свою нееврейскую идентичность, апеллируя к антропологическим исследованиям, документам и отсутствию дискриминации в Российской империи. Однако принятое наверху политическое решение с заминками доводилось бюрократией до исполнителей, в результате, пока решение было в пути, многие караимы были уничтожены.

Пример столкновения национализирующей стратегии политик идентичности и реальной поликультурности и многообразия – современная Россия, где власть пытается втиснуть население в узкие рамки этноконфессиональной русской идентичности. Нормативная русскость при этом конструируется путем культивирования переживания паранойи, ресентимента и апелляций к мифологизированному прошлому. Произвольность созданных таким образом ценностей и традиций затрудняет их принятие и практикование. Вследствие этого они превращаются скорее в маркер различия свой–чужой и провоцируют конфликты со всеми, кто не соответствует нормативной идентичности.

Также в этом номере читатель найдет дневники российского флотского офицера Евгения Алексеева (1843–1917), который в конце века стал наместником на Дальнем Востоке и внес вклад в развязывание



русско-японской войны. В контексте темы номера эти дневники интересны тем, что Алексеев, несмотря на опыт разнообразия – многочисленные путешествия по империи и Америке, а также разнородное и разноразличное окружение, – поддался «национализации», к которой подталкивала военная форма, и стал «видеть, как национальное государство» (с. 23).

## НЕ ГОСУДАРСТВОМ ЕДИНЫМ

В последнем за 2022 год номере «*Ab Imperio*» (2022. № 4) завершает годовую тему и переводит вопрос о государстве как акторе и категории описания в прагматическую плоскость: «Роль государства в проектах улучшения общества». Эту формулировку следует понимать в контексте сосуществования разных форм политической группности и субъектности. Государство, во-первых, не единый актор, во-вторых, *только один из* акторов, а не единственный и высший, скрадывающий поликультурность и полицентризм, как то обычно представляется, например, в мастер-нарративе истории России. На протяжении истории проекты *социальной инженерии* инициировали или осуществляли разные акторы, не только государство.

Например, Анастасия Акулич в исследовании российской экспансии в Китае на рубеже XIX–XX веков показывает, что стратегии местной российской администрации и Русской православной миссии серьезно расходились, хотя номинально обе силы относились к государству. Если чиновники стремились усилить имперское политическое влияние и экономический контроль над регионом (в связи со строительством Китайско-Восточной железной дороги), то миссионеры, преследуя вроде бы близкие цели и получая финансирование из государственных источников, ненамеренно добились усиления и автоно-

мизации китайской субъектности. Это было достигнуто за счет перевода религиозных книг и церковной службы на китайский язык, создания социальной группы китайского духовенства и последующего роста китайской православной общины. Здесь обнаруживается несовпадение государства, империализма, русскости и православия, которые обычно шли в сцепке как части неделимой сущности – русского государства. Можно предположить, что в этом случае ситуация империи вступила в противоречие с государственностью.

Оксана Ермолаева переносит нас в другую пограничную зону – между Финляндией и СССР в 1920–1930-е. Нелегальное трансграничное движение было здесь интенсивным, поскольку гражданская война и советская политика привели к тому, что граница разделила сложившиеся в этом регионе экономические и семейные связи. При этом СССР, хотя и будучи суверенным современным государством, не мог обеспечить охрану собственных рубежей. Лишь в 1930-е граница оказалась «на замке», но достигнуто это было не столько усилением охраны и техническим оснащением, сколько вовсе не современными средствами: были проведены массовые депортации приграничного населения во внутренние районы. На его место переселили людей из других регионов, у которых, разумеется, не было ни трансграничных связей, ни знания местности, чтобы обходить охрану. Этот способ использовался еще во времена Московской Руси. Словом, вместо институционального решения были использованы манипуляции с населением.

Обычно частью государственных планов по преобразованию общества является дисциплинирование индивидов и формирование нового типа субъективности, как это было в советском обществе. Однако и здесь государство не было монополистом и конкурировало с иными инстанциями. Иллюстрацией служит опубликованный

дневник молодого человека, призванного в пограничные войска в 1940-м и продолжившего службу в частях НКВД вплоть до 1944 года. Дневник свидетельствует о *расщеплении субъективности* между реальными действиями рационального субъекта, преследующего личные интересы, и размышлениями о политических идеалах и личной жизни, укладывающихся в официальный нарратив (с. 162). Например, беспорядочное и беспринципное сексуальное поведение контрастировало с искренне декларируемыми идеалами чистой любви и верности.

«Советский человек, воплощаемый автором дневника, оказывается вполне “кантианским субъектом”, который сознательно встраивается в советский нормативный дискурс и принимает советские официальные ценности, ни на минуту не забывая о том, что делает он это ради себя, а не ради общества, режима или идеологии. [...] Между нормативным дискурсом и практикой существовал принципиальный разрыв, и советский человек вполне органично сочетал два модуса существования: дискурсивный и внедискурсивный» (с. 163).

Это расщепление субъективности между практикой и дискурсом, в целом характерное для советской субъективности, отмечалось многими исследователями и писателями (в том числе упоминавшимся в начале обзора Зиновьевым) и затрагивало также политическое измерение.

Сходный разрыв между нормативным дискурсом и реальной практикой Бьорн Фелдер прослеживает в реализации запрета на аборт, принятого в СССР в 1936 году. Дело в том, что запрет предполагал легальные исключения и законодательно закрепленные показания к процедуре, в основном мотивированные *евгеническими* принципами. Однако евгенику в СССР уже в начале 1930-х критиковали как «фашистскую науку», а магистральный исторический взгляд выделяет евгенические дискуссии начала

1920-х и фиксирует исчезновение евгеники из публичной сферы. Однако изучение рутинных управленческих практик показывает, что она нигде не делала. Нормативный антиевгенический дискурс расходился со вполне евгенической практикой: последняя просто не опознавалась в качестве референта официального дискурса (и пока это отождествление не выявляло и утверждало государство, люди не замечали связи). В редакторском комментарии к статье Фелдера отмечается:

«В обстановке раздуваемой властями моральной паники [советские люди] могли обнаружить свастику на случайной газетной фотографии (или в любом другом “тесте Роршаха”, непреднамеренно генерировавшемся некачественной советской полиграфией), но в иных обстоятельствах оказывались не способны связать между собой очевидные “а” и “б”» (с. 27).

При этом и сама советская власть не критически отнеслась к закону, забыв о собственных принципах и допустив в нем евгенические обертоны. Кейс Фелдера показывает, что за сталинским государством скрывалась «дискурсивная пустота», если не считать ограниченный и простой репертуар, усваивавшийся индивидами в рамках социализации:

«Различные группы советских людей исполняли роль вездесущего тоталитарного государства, как они ее понимали, через самоорганизацию и самоконтроль, используя обрывки идей и концепций, официально не признанных подрывными» (с. 27).

Этот тезис перекликается с одним из основных советских наблюдений Александра Зиновьева, воплощенных им в ранних романах: ужасно не государство с системой лагерей, а люди, принявшие на себя функции контроля в повседневной жизни; именно через них власть наиболее эффективно осуществляет контроль, создавая в том числе зоны правовой неопределенности.



Невнимание к этой множественности и разнородности того, что было возможно под сенью государства, подрывает внушительную по объему критику, которая противопоставляет «плохое» сталинское государство с его «плохим» преемником Российской Федерацией и возможное «хорошее» демократическое. Проблема такой критики – в неявном поиске новой этатистской и нациецентричной коллективной субъектности, такой же однородной и солидарной, как отвергаемое «советское государство». Этот *идеалистический этатизм* характерен в том числе для постсоветских интеллектуалов.

Наглядный пример такой позиции Елена Барабан обнаруживает при параллельном чтении романов и исторических работ Бориса Акунина, посвященных позднеимперскому периоду. Акунин противопоставляет советскому авторитарному государству «нормальное» государство и единственный путь от первого ко второму видит в массовом личном моральном самосовершенствовании. Этот путь по сути является политической демобилизацией и обрекает индивида на выбор между конформизмом и эскапизмом. Как замечают редакторы, это позиция *аполитичного этатизма*: все политические действия и субъектности вытесняются из общества в пользу государства. В таком национально-ориентированном социальном мышлении нет частичных действий, переговоров между разнородными силами и политики как конкуренции, поскольку все это слишком фрагментарно, тогда как на кону – великая

тотальность, требующая столь же тотальной трансформации.

Генеалогию такого типа мышления Илья Герасимов прослеживает в социальной физике Конта, которая была осмыслением классической физики Ньютона и Галилея (с. 35). Если физика после научных революций начала XX века пошла дальше, то социальное мышление осталось прежним: общество – это замкнутая система в состоянии «термодинамического равновесия», а социальные процессы – это движущиеся тела. Отсюда сведение эмпирически наблюдаемой социальной сложности к простым сущностям, наделенным коллективной субъектностью и временной протяженностью – таким, как нация или государство.

\* \* \*

Попавшие в наш обзор номера объединяет внимательное отношение к тому, что зацементировалось в привычных представлениях и не вызывает сомнений, будь то карты, давно ставшие частью повседневности, категория государства или маргинализируемые в части сообщества работы советского автора. Во всех темах так или иначе проблематизируются механизмы производства знания и реалий, неизбежно связанные с управлением. Хочется надеяться, такой критико-эпистемологический заход будет становиться все более востребованным. Главное, чтобы это не стало началом ухода в сугубо эпистемологические штудии как способ уйти от цензуры.